

Из соловецких воспоминаний

Олега ВОЛКОВА¹

«Моим соседом по нарам² оказался польский ксендз пан Феликс³, напомнивший мне выведенных во французских романах прошлого века деревенских кюре — мягких в обращении, благожелательных и опрятных. Он выслушивал собеседников учтиво, ответы свои взвешивал. Очень заботился о чистоте сутаны — она у него сильно обносилась, кое-где порвалась, но пятен на ней не было. Выговаривал русские слова пан Феликс правильно, но подбирал их медленно и часто заменял польскими. Познаний моих в латыни было недостаточно, чтобы перейти на язык Тацита, но к французскому мы оба прибегали охотно, хотя патер невесело шутил, что ему необходимо упражняться по-русски, так как впереди — неизбежная отправка "во глубину России".

Образованный, как все католические священники, пан Феликс был интересным собеседником. Но, пускаясь с ним в длительные рассуждения, я всегда был настороже: в моем эрудированном друге болезненно кровоточили обиды, нанесенные некогда национальному самолюбию поляков русскими монархами. Я опасался неосторожным словом их разбередить. Тем более, что современные преследования поляков в Западном крае заставляли меня чувствовать себя отчасти "ненавистным москалем", угнетателем и душителем его народа. Хотя мне и незачем было, находясь с ним на одних нарах, отмежеваться от советских жандармов, опустошавших цвет польской интеллигенции и духовенства. С прошлым же обстояло сложнее.

Однажды в разговоре я упомянул о тетке своей, урожденной Новосильцовой⁴, — фамилии, столь же odioзной для поляков, как и Муравьев⁵. И убедился, насколько — более, чем через полвека — свежи воспоминания о карателях. Следы их грубых сапог навсегда оттиснуты в народной памяти. Забываются подробности, точные факты, но общее

¹ Волков Олег Васильевич, родился в 1900 в имении Новоторжского уезда Тверской губ. (отец, Волков Василий Александрович, директор правления Русско-Балтийского завода, член правления Русско-Английского банка, в феврале 1919 — скончался; мать Волкова Александра Аркадьевна, из рода флотоводцев Лазаревых). В 1917 — окончил Тенишевское училище, проживал с семьей в имении в Новоторжском уезде, готовился к поступлению в университет. После смерти отца поселился в Москве, с 1922 — работал переводчиком в Миссии Нансена, позднее у иностранного корреспондента, затем у концессионеров и в греческом посольстве. В 1924 — женился на Софье Всеволодовне Мамонтовой, в семье — сын Всеволод. В феврале 1928 — арестован, приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения.

Полная справка о нем приведена в "Книге памяти" — Прим. сост.

² В камере Бутырской тюрьмы. — Прим. сост.

³ Любчинский Феликс Николаевич, родился в 1886 в Волынской губ. Окончил духовную семинарию, в 1909 — рукоположен. Служил викарием прихода в Киеве, с 1916 — настоятелем прихода в селе Куна, с 1919 — в Гайсине, с сентября 1920 — в деревне Кушелевка вблизи Тульчина. В начале 1920-х — не раз арестовывался, позднее освобождался. 13 апреля 1927 — арестован, 21 августа 1928 — приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь, работал там сторожем. В августе 1931 — тяжело заболел, в октябре вывезен в лазарет. 17 ноября 1931 — скончался в лагерном лазарете Кремля.

⁴ Новосильцов Николай Николаевич. С 1813 года — вице-президент временного совета, учрежденного для управления Варшавским герцогством. С 1815 — после переименования герцогства в Царство Польское заведовал комитетом по учебной части, с 1821 — состоял при великом князе Константине Павловиче. Строгость и даже жестокость Новосильцева, особенно по отношению к молодежи, вызывала к нему ненависть поляков. — Прим. сост.

⁵ Генерал от инфантерии Михаил Николаевич Муравьев. В 1863-1864 — потопил в крови восставшую Польшу, пытавшуюся выйти из состава Российской империи и обрести независимость; прозван за это "вешателем поляков". — Прим. сост.

ощущение недоверия, опасливого неприятия, неуважения к потомку насильников сохраняется. Пан Феликс заметно волновался, задетый за живое случайным упоминанием фамилии сподвижника Муравьева-вешателя, неотделимо слитой со штурмом Варшавы, с казаками, разведенными на постой по усадьбам польских панов... Очень много лет спустя я встретил венгра, с гневным презрением и неостывшей ненавистью поминавшего Николая I, душителя венгерского восстания 1848 года. Это было, правда, года через четыре после появления советских танков на улицах Будапешта...

И я не уточнял своего отношения к романам Сенкевича, пан Феликс придерживался того же в разговорах о Пушкине. Любое прикосновение к прошлому вело к пороховому погребу взаимных претензий и соперничеств, способному взорваться и повести к разрыву. Я же ценил возникшую взаимную симпатию и наши хоть и хрупкие, но искренние отношения, основанные на одинаковости нравственных критериев.

Пан Феликс был перепуган, оскорблен и глубоко несчастен. Так и чувствовалась его привычка к одиноким медитациям, к размеренному обиходу в скромных стенах дома при костеле и к безграничному уважению прихожан. Мог ли он когда представить себя в общей камере, среди грязи и матюгов, среди людей чуждых и страшных! Хождение в уборную "соборне" оставалось для него пыткой... Он заливался румянцем, стыдясь под чужими взглядами справлять нужду. А много ли находилось народу, достаточно милосердного, чтобы отвести глаза от пана Феликса, наконец решившегося забраться с подобранными полами сутаны на толчок! А тут еще надзиратель с порога уборной поносит "бар", не умеющих оправиться по-солдатски...

Бедный, бедный пан Феликс! Как ни был он сдержан, в его рассказах прорывалась тоска по канувшим бестревожным дням, по выхаживаемым им цветам, украшавшим убранные комнаты и запрестольный образ Мадонны в алтаре. Как беспомощен был этот старый холостяк, живший в оранжерейной обстановке, созданной заботами служанки, наизусть знавшей его вкусы, слабости, привычки! Этот взрослый ребенок целомудренно конфузился при малейшем фривольном слове, не подозревал подвоха и насмешки в лицемерно почтительном вопросе о вере, заданном заведомым хамом с тем, чтобы сказать сальность по поводу Непорочного Зачатия.

И вдвойне, втройне трагически бедный и несчастный, если подумать, что Бутырская тюрьма была лишь промежуточной ступенью между предшествовавшими ей мытарствами по узилищам и дальнейшей тяжелой участью... Пан Феликс не ведал сомнений — он искренне и безраздельно исповедовал свою веру, знал, что жизнь его в руках Божиих. И это авось да и помогло ему перенести лютое мучительство, доставшееся на его долю перед концом.

... Что за тоскливые, трудные воспоминания! И даже страшно, что я не могу с уверенностью назвать фамилию пана Феликса: Любчинский ли, Любчевский... не помню уже! Так стирается бесследно память об отцах Иоаннах, панах Феликсах... О тысячах подобных подвижников. Хотя именно они не дают угаснуть огоньку, еще не окончательно поглощенному потемками...

Чтобы отключиться от чадной обстановки, не слышать дежурных грязных анекдотов и похабщины, полнящих досуги обитателей камеры, пан Феликс учит меня польскому языку. Я скоро начинаю сносно читать, улавливаю смысл: это нехитро для русского, знающего латынь. И мой учитель умиленно внимает классическим периодам прозы Сахновского или Ожешко. В тюремной библиотеке отличная коллекция старых польских книг — память о прошедших через Бутырку партиях польских повстанцев, ссылаемых в Сибирь.

Пан Феликс нередко меня прерывает, чтобы поправить произношение, но чаще, чтобы повторить какой-нибудь пассаж, подчеркнуть музыкальность и благозвучие родного языка. Не удерживается, декламирует Словацкого, увлекается.

— Впрочем, — спохватывается он, — и в русском языке есть очень красивые слова. Например, "Спаситель", — и, воздав таким образом дань моим чувствам россиянина, продолжает читать дальше.

Теснота, праздность, подспудно гложащая каждого тревога за свою судьбу... Они побуждают искать развлечений. А скудность возможностей родит раздражение против тех, кто ухитрился устраниваться — живет или делает вид, что живет какими-то своими интересами, отгораживающимися от тюремных будней. Не каждый способен углубиться в книгу — и вид уткнувшегося в нее человека вызывает у бесцельно слоняющихся по камере беспокойство, зуд. И хочется помешать, затащить книжечку в общий круг. А вот легче станет, когда все до единого будут так же нудно ждать прогулки ли, бачков с баландой, вызова ко врачу, — одной из тех вещей, какими метится нестерпимо длинный день.

Мимолетное раздражение и досада на счастливого, умеющего заполнить свое время, перерастает в зависть. А она непременно ведет за собой целый хорост "добрых" чувств: озлобление, желание травить отгородившегося, карать за попытку выделиться из стада. И вспыхивают перебранки и ссоры, дикие выходки с вырыванием книги, расшвыриванием фигур с шахматной доски, а то и драки.

— Пше прошем, пшедошем, вшистка, пшистка, пан, дзинкую бардзо! Как насчет паненок, пан ксендз? — забубнил около нас, кривляясь, один из самых скучливых и непоседливых сокамерников, некто Загурский, немолодой одессит, привезенный в Москву на следствие по какому-то запутанному таможенному делу. Он явно намеревался высечь хоть подобие развлечения из задиранья пана Феликса.

Сам Загурский, если не лежал на досках, уставившись в одну точку, неприкаянно бродил промеж всех, дразня и приставая — Впрочем, расчетливо, чтобы не нарваться на резкий отпор. Книжку в руки он не брал никогда.

— Перестань-ка, Илья Маркович! Пан Феликс занят со мной, ему некогда. Иди-ка лучше полежи перед прогулкой, — обратился я к нему миролюбиво, но твердо. И Загурский, пробормотав еще что-то и для престижа постояв около нас, отошел. Всполошившийся пан Феликс дрожащими руками листал книгу, ища потерянную страницу.

По утрам ругань и ссоры возникают по всякому поводу. Зато под вечер ослабевает напряженность ожидания возможных бед и подвохов, всегда караулящих последственных, на три четверти — случайных фигурок в крупной политической игре верхов советской иерархии. И все становится спокойнее. Даже ищут дружелюбного общения...

... Мой пан Феликс, всю жизнь укладывающийся после Angelus'a [Вечерняя молитва (лат.)], и тут ложится после проверки. Перед этим он, отвернувшись ото всех, долго стоит в углу на коленях — мы занимали с ним крайние места на нарах у окна — и читает про себя все полагающиеся молитвы на сон грядущий. Уже просветленный ими, желает мне спокойной ночи и засыпает сразу. А во сне тихонько посапывает и чмокает губами...»

* * *

«Духовенство на Соловках поголовно зачислялось в роту сторожей... В кладбищенской церкви святого Онуфрия регулярно отправляли службы немногие оставленные на острове монахи.

В двадцать восьмом году еще разрешалось заключенным — духовным лицам и мирянам — посещать эти службы. Православным был отведен храм на погосте.

Прочим вероисповеданиям и сектам — часовни и церкви, каких много было разбросано вокруг монастыря.

Вечером закрывались "присутствия", и "рабочая" жизнь лагеря замирала. Удивительно выглядела в это время неширокая дорога между монастырской стеной и Святым озером. Глядя на идущих в рясах и подрясниках, в клобуках, а то и в просторных епископских одеждах, с посохом в руке, нельзя было догадаться, что все они — заключенные, направляющиеся в церковь.

Мерно звонил кладбищенский колокол. Высокое северное солнце и в этот закатный час ярко освещало толпу, блестело на глади озера. И так легко было вообразить себе время, когда текла у этих стен ненарушенная монастырская жизнь... Тогда на Соловках находилось в заключении более двадцати епископов, сонм священников и диаконов, настоятели упраздненных монастырей»⁶.

* * *

«Подходили к концу темные месяцы моей первой соловецкой зимовки. Солнце стало дольше задерживаться в небе, подниматься выше, и в наши будни проникли предчувствия весеннего оживания: словно с открытием навигации и освобождением острова ото льдов и в судьбах заключенных непременно произойдут какие-то сдвиги. И уж, разумеется, в добрую сторону. В пустовавшем зимой сквере между Святительским и Благовещенским корпусами стали вновь задерживаться, а то и поманенные обманчивым солнечным пригревом посиживать на лавках заключенные, более всего обитатели сторожевой роты — духовенство, свободное от дежурств. Чернели сутаны собравшихся тесной кучкой католических священников. Они держались особняком, редко когда по своей инициативе заводили разговоры с нашими батюшками. Пан Феликс, завидев меня, тотчас покидал своих и подходил ко мне.

Мы встретились с ним на острове как старые друзья. Был он устроен сносно: через сутки дежурил у какого-то склада, получал от Красного Креста посылки и деньги. Мы уже не возобновляли наших польских чтений, но беседовали подолгу. Большею частью у меня в келье, за мирным чаепитием.

Однако чувствовалось, что пана Феликса гложут тревоги, от которых здесь ему труднее отвлечься, чем в Бутырках. Не сбывались надежды на заступничество польского правительства или Ватикана, какими поманило свидание с польским дипломатом накануне отправки из тюрьмы. Католические священники убеждались, что уповать им не на кого: они целиком в руках власти, взявшей искоренить их влияние.

Ксендзы, объявленные эмиссарами вражеского окружения и шпионами, преследовались особенно настойчиво. Как ни скудно проникали известия на остров, пан Феликс по редким письмам своих прихожан, писавших иносказательно и робко, догадывался о ссылках и арестах самых близких ему людей, обвиненных в связях с ним — агентом Пилсудского!

Тоска... Ни одно из предчувствий пана Феликса не обмануло его.

Как-то под утро в келью сторожевой роты ворвался отряд вохровцев. Они перехватывали спавших польских ксендзов — около пятнадцати человек. Едва дав им одеться, вывели и, связав им руки, посажали на телеги и под конвоем увезли в штрафной изолятор на Заяцких островах»⁷.

⁶ Волков О. В. Погружение во тьму. / Послесл. Э. Ф. Володина. — М.: Молодая гвардия, Товарищество русских художников, 1989 — М.: 1992. С. 18-19.

⁷ Волков О. Погружение во тьму. — М.: 1992. С. 86-87.

О дальнейшей судьбе Олега Васильевича Волкова:

В апреле 1929 — лагерный срок был заменен высылкой в Тульскую область на оставшийся срок. Поселился в Ясной Поляне, работал переводчиком иностранной литературы. В марте 1931 — арестован вместе с братом Всеволодом, в сентябре приговорен к 5 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. Работал на общих работах, потом счетоводом лесного отдела, истопником и уборщиком при лесничестве и чернорабочим на звероферме. Летом 1933 — лагерный срок был заменен ссылкой в Архангельск; работал начальником планового отдела в Северолесе и переводчиком в филиале НИИ электрификации лесной промышленности. 1 июня 1936 — вновь арестован, 19 января 1937 — приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в Ухтинский лагерь, работал лесорубом, в 1939 — отправлен в Сангородок, позднее работал там кассиром финансовой части, затем — в геологическом отделе. В марте 1941 — освобожден, работал вольнонаемным в геологической партии в Сыктывкаре. В марте 1942 — арестован в Усть-Куломе, возвращен в Княж-погост Ухтижемлага. 27 августа 1942 — арестован, 27 июня 1943 — приговорен к 4 годам ИТЛ и переведен в другое лагерное отделение. В лагере тяжело заболел, в апреле 1944 — освобожден досрочно. Поселился в Кировобаде, с лета 1946 — в Малоярославце, работал переводчиком в московских издательствах, в 1950 — переехал с семьей в Калугу. Весной 1950 — арестован, приговорен к 10 годам ссылки и отправлен в Ярцево Красноярского края, работал там плотником, затем траппером. Весной 1956 — освобожден, вернулся в Москву, стал профессиональным писателем: рассказы, очерки, публицистика. В 1957 — принят в члены Союза писателей, изданы его книги "Погружение во тьму", "Век надежд и крушений". В 1992 — присуждена Государственная премия РФ. 10 февраля 1996 — скончался.